

RUGRAM

ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН

*Человек,
который был Четвергом*

ФТМ

УДК 82/89
ББК 84(4Вел)
Ч51

GILBERT KEITH CHESTERTON
The Man Who Was Thursday
1908

Перевели с английского Н. Трауберг, Г. Кружков

Честертон Г. К.

Ч51 Человек, который был Четвергом : [роман] / Гилберт Кийт Честертон ; [пер. с англ. Н. Трауберг, Г. Кружкова]. — М. : «RUGRAM_ФТМ», 2021. — 162 с. — (Серия «Пальмира — Честертон»).

ISBN 978-5-521-74387-2

Роман английского писателя Г. К. Честертон (1874–1936), в котором в иносказательной форме поднимаются философские вопросы. Агент тайной полиции Гэбриел Сайм попадает в общество террористов, имена которым присваиваются по названиям дней недели. Агент становится Четвергом, и его задача — добраться до Воскресенья, главы организации.

**УДК 82/89
ББК 84(4Вел)**

© Трауберг Н. Л., наследники,
перевод на русский язык, примечания, 2021
© Кружков Г. М.,
перевод на русский язык, 2021
© Оформление.
ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2021

ISBN 978-5-521-74387-2

ЭДМОНДУ КЛЕРИХЬЮ БЕНТЛИ*

Клубились тучи, ветер выл,
и мир дышал распадом
В те дни, когда мы вышли в путь
с неомраченным взглядом.
Наука славилась свой нуль,
искусством правил бред;
Лишь мы смеялись, как могли,
по молодости лет.
Уродливый пороков бал
нас окружал тогда —
Распутство без веселья
и трусость без стыда.
Казался проблеском во тьме
лишь Уистлера вихор,
Мужчины, как берет с пером,
носили свой позор.
Как осень, чахла жизнь, а смерть
жужжала, как комар;
Воистину был этот мир
непоправимо стар.
Они сумели исказить
и самый скромный грех,
Честь оказалась не в чести, —
но, к счастью, не для всех.
Пусть были мы глупы, слабы
перед напором тьмы —
Но черному Ваалу
не поклонились мы,
Ребьячеством увлечены,
мы строили с тобой
Валы и башни из песка,
чтоб задержать прибой.

* Перевод Г. М. Кружкова.

Мы скоморошили вовсю
и, видно, неспроста:
Когда молчат колокола,
звенит колпак шута.
Но мы сражались не одни,
подняв на башне флаг,
Гиганты брезжили меж туч
и разгоняли мрак.
Я вновь беру заветный том,
я слышу дальний зов,
Летающий с Поманока
бурливых берегов;
«Зеленая гвоздика»
увяла вмиг, увы! —
Когда пронесся ураган
над листьями травы;
И благодатно и свежо,
как в дождь синичья трель,
Песнь Тузиталы разнеслась
за тридевять земель.
Так в сумерках синичья трель
звенит издалека,
В которой правда и мечта,
отрада и тоска.
Мы были юны, и Господь
еще сподобил нас
Узреть Республики триумф
и обновления час,
И обретенный Град Души,
в котором рабства нет, —
Блаженны те, что в темноте
уверовали в свет.
То повесть миновавших дней;
лишь ты поймешь один,
Какой зиял пред нами ад,
таивший яд и сплин,
Каких он идолов рождал,
давно разбитых в прах,
Какие дьяволы на нас
нагнать хотели страх.
Кто это знает, как не ты,
кто так меня поймет?

Горяч был наших споров пыл,
тяжел сомнений гнет.
Сомненья гнали нас во тьму
по улицам ночным;
И лишь с рассветом в головах
рассеивался дым.
Мы, слава Богу, наконец
пришли к простым вещам,
Пустили корни — и стареть
уже не страшно нам.
Есть вера в жизни, есть семья,
привычные труды;
Нам есть о чем потолковать,
но спорить нет нужды.

Глава I

ДВА ПОЭТА В ШАФРАННОМ ПАРКЕ

На закатной окраине Лондона раскинулось предместье, багряное и бесформенное, словно облако на закате. Причудливые силуэты домов, сложенных из красного кирпича, темнели на фоне неба, и в самом расположении их было что-то дикое, ибо они воплощали мечтанья предприимчивого строителя, не чуждавшегося искусств, хотя и путавшего елизаветинский стиль со стилем королевы Анны, как, впрочем, и самих королев. Предместье не без причины слыло обиталищем художников и поэтов, но не подарило человечеству хороших картин или стихов. Шафранный парк не стал средоточием культуры, но это не мешало ему быть поистине приятным местом. Глядя на причудливые красные дома, пришелец думал о том, какие странные люди живут в них, и, встретив этих людей, не испытывал разочарования. Предместье было не только приятным, но и прекрасным для тех, кто видел в нем не мнимость, а мечту. Быть может, жители его не очень хорошо рисовали, но вид у них был, как говорят в наши дни, в высшей степени художественный. Юноша с длинными рыжими кудрями и наглым лицом не был поэтом, зато он был истинной поэмой. Старик с безумной белой бородой, в безумной белой шляпе не был философом, но сам вид его располагал к философии. Лысый субъект с яйцевидной головой и голой птичьей шеей не одарил открытием естественные науки, но какое открытие подарило бы нам столь редкий в науке вид? Так и только так можно было смотреть на занимающее нас предместье — не столько мастерскую, сколько хрупкое, но совершенное творение. Вступая туда, человек ощущал, что попадает в самое сердце пьесы.

Это приятное, призрачное чувство усиливалось в сумерки, когда сказочные крыши чернели на зареве заката и весь странный поселок казался отторгнутым от мира, словно плывущее облако. Усиливалось оно и в праздничные вечера, когда устраивали иллюминацию и китайские фонарики пылали в листве диковинными плодами. Но никогда ощущение это не было таким сильным, как в один и донныне памятный вечер, героем которого оказался рыжий поэт. Впрочем, ему не впервые довелось играть эту роль. Тот, кто проходил поздно вечером мимо его садика, нередко слышал зычный голос, поучавший всех, в особенности женщин. Кстати сказать, женщины эти вели себя очень странно. Исповедуя передовые взгляды и принципиально протестуя против мужского первенства, они покорно слушали мужчин, чего от обычной женщины не добьешься. Рыжего поэта, Люциана Грегори, стоило иногда послушать хотя бы для того, чтобы над ним посмеяться. Старые мысли о беззаконии искусства и искусстве беззакония обретали, пусть ненадолго, новую жизнь, когда он смело и своенравно излагал их. Способствовала этому и его внешность, которую он, как говорится, умело обыгрывал: темно-рыжие волосы, разделенные пробором, падали нежными локонами, которых не постыдилась бы мученица с картины прерафаэлиты, но из этой благодостной рамки глядело грубое лицо с тяжелым, наглым подбородком. Такое сочетание и восхищало, и возмущало слушателей. Грегори являл собой олицетворение кошунства, помесь ангела с обезьяной.

Вечер, о котором я говорю, сохранился бы в памяти обитателей из-за одного только необычайного заката. Небосклон оделся в яркие, на ощупь ощутимые перья; можно было сказать, что он усыпан перьями, и спускаются они так низко, что чуть не хлещут вас по лицу. Почти по всему небу они были серыми с лиловым, розовым и бледно-зеленым, на западе же пылали, прикрывая солнце, словно оно слишком прекрасно для глаз. Небо тоже опустилось так низко, что исполнилось тайны и того невыразимого уюта,

которым держится любовь к родным местам. Самые небеса казались маленькими.

Я сказал, что многие обитатели парка помнят тот вечер хотя бы из-за грозного заката. Помнят его и потому, что здесь впервые появился еще один поэт. Рыжий мятежник долго властвовал один, но именно тогда наступил конец его одинокому величию. Новый пришелец, назвавшийся Гэбриелом Саймом, был безобиден, белокур, со светлой мягкой бородкой, но чем дольше вы с ним беседовали, тем сильнее вам казалось, что он не так уж и кроток. Появившись, он сразу признался, что не разделяет взглядов Грегори на самую суть искусства, и назвал себя певцом порядка, мало того — певцом приличия. Стоит ли удивляться, что Шафранный парк глядел на него так, словно он только что свалился с пламенеющих небес?

Грегори, поэт-анархист, прямо связал эти события.

— Весьма возможно, — сказал он, впадая в привычную велеречивость, — весьма возможно, что облака и пламя породили такое чудище, как почтенный поэт. Вы зовете себя певцом законности, я же назову вас воплощенной бессмыслицей. Удивляюсь, что ваш приход не предвещает землетрясения и кометы.

Человек с голубыми кроткими глазами и остроконечной светлой бородкой вежливо, хотя и важно выслушал эти слова. Розамунда, сестра его собеседника, тоже рыжая, но гораздо более мирная, засмеялась восторженно и укоризненно, как смеялись все, кто слушал местного оракула. Оракул тем временем продолжал, упоенный своим красноречием:

— Анархия и творчество едины. Это синонимы. Тот, кто бросил бомбу, — поэт и художник, ибо он превыше всего поставил великое мгновение. Он понял, что дивный грохот и ослепительная вспышка ценнее двух-трех тел, принадлежавших прежде полисменам. Поэт отрицает власть, он упраздняет условности. Радость его — лишь в хаосе. Иначе поэтичнее всего на свете была бы подземка.